

Говард Филлипс
ЛАВКРАФТ

Зов Ктулху



АЗБУКА

Санкт-Петербург

ЗОВ КТУЛХУ

*(Обнаружено в бумагах
покойного Френсиса Виланда Герстона, г. Бостон)*

Можно предположить, что из этих великих стихий или существ иные выжили... выжили со времен бесконечно отдаленных, когда... сознание, вероятно, проявляло себя в обличьях и формах, давным-давно отступивших пред натиском человеческой цивилизации... мимолетное воспоминание об этих формах сохранили лишь легенды да поэзия, нарекшие их богами, чудовищами, мифическими существами всех родов и видов...

Элджернон Блэквуд

I

Глиняный ужас

По мне, неспособность человеческого разума соотнести между собою все, что только вмещает в себя наш мир, — это великая милость. Мы живем на безмятежном островке неведения посреди черных морей бесконечности, и дальние плаванья нам заказаны. Науки, трудясь каждая в своем направлении, до сих пор особого вреда нам не причиняли. Но в один прекрасный день разобщенные познания будут сведены воедино, и перед нами откроются такие ужасающие горизонты реальности, равно как и наше собственное страшное положение, что мы либо сойдем с ума от этого откровения, либо бежим от смертоносного света в мир и покой нового темного средневековья.

Теософы уже предугадали устрашающее величие космического цикла, в пределах которого и наш мир, и весь род человеческий — не более чем преходящая случайность. Они намекают на странных пришельцев из тьмы веков — в выражениях, от которых кровь бы застыла в жилах, когда бы не личина утешительного оптимизма. Но не от них явился тот один-единственный отблеск за-

претных эпох, что леденит мне кровь наяву и сводит с ума во сне. Это мимолетное впечатление, как и все страшные намеки на правду, родилось из случайной комбинации разрозненных фрагментов — в данном случае вырезки из старой газеты и записей покойного профессора. Надеюсь, никому больше не придет в голову их сопоставить; сам я, если останусь жив, ни за что не стану сознательно восполнять звенья в столь чудовищной цепи. Думается мне, что и профессор тоже намеревался сохранить в тайне известную ему часть и непременно уничтожил бы свои заметки, если бы не внезапная смерть.

Впервые я ознакомился с ними зимой 1926/27 года: именно тогда умер мой двоюродный дед Джордж Гаммелл Эйнджелл, почетный профессор семитских языков в Брауновском университете города Провиденс, штат Род-Айленд. Профессор Эйнджелл был широко известен как видный специалист по древним надписям, к нему то и дело обращались директора крупных музеев, так что его кончина в возрасте девяноста двух лет вызвала изрядный резонанс. В местном масштабе интерес подогревался еще и тем, что причина смерти осталась невыясненной. Профессор возвращался из Ньюпорта: он сошел с корабля — и, по словам свидетелей, рухнул как подкошенный после того, как его толкнул какой-то негр, с виду моряк, что неожиданно-негаданно вынырнул из странноватого темного дворика на холме, по крутому склону которого пролегал кратчайший путь от порта до дома покойного на Уильямс-стрит. Врачи не обнаружили зримых признаков какого бы то ни было расстройства и, посоветовавшись немного в замешательстве, заключили, что причиной трагедии послужило некое скрытое нарушение сердечной деятельности, спровоцированное быстрым подъемом в гору — в профессорские-то преклонные годы! В ту пору я не видел повода ставить диагноз под сомнение, но в последнее время я склонен задуматься на этот счет... очень серьезно задуматься.

Как наследнику и душеприказчику моего двоюродного деда — ибо он умер бездетным вдовцом — мне полага-

лось сколь возможно тщательно просмотреть его архивы; с этой целью я перевез все его коробки и папки на свою бостонскую квартиру. Большую часть разобранных мною материалов со временем опубликует Американское археологическое общество, однако ж среди ящиков нашелся один, изрядно меня озадачивший: вот его-то мне особенно не хотелось показывать чужим. Ящик был заперт, ключа нигде не оказалось, но в конце концов я догадался осмотреть брелок, что профессор всегда носил в кармане. И действительно: открыть замок мне удалось, но тут передо мною воздвиглось препятствие еще более серьезное и непреодолимое. Что, ради всего святого, означали странный глиняный барельеф и разрозненные записи, наброски и газетные вырезки, мною обнаруженные? Или дед мой, на закате дней своих, стал жертвой самого банального надувательства? Я решил непременно разыскать эксцентричного скульптора, по всей видимости нарушившего душевный покой старика.

Барельеф представлял собою неровный прямоугольник площадью приблизительно пять на шесть дюймов и менее дюйма толщиной, явно современного происхождения. Но изображалось на нем нечто крайне далекое от современности и по духу, и по замыслу, ибо хотя бесчелны и сумасбродны причуды кубизма и футуризма, нечестно воспроизводят они таинственную упорядоченность, сокрытую в доисторических надписях. А большая часть этих узоров, вне всякого сомнения, представляла собою именно письмена, хотя память моя, невзирая на близкое знакомство с бумагами и коллекциями деда, не сумела ни опознать эту разновидность, ни хотя бы намекнуть на какие-то отдаленные параллели.

Над этими несомненными иероглифами просматривалась фигура — явно изобразительного плана, хотя импрессионистский стиль исполнения не позволял распознать ее природу. Что-то вроде чудища или символ, представляющий чудище, породить которое способна разве что большая фантазия. Я нимало не погрешу против сути этого образа, если скажу, что моему взбалмошному во-

ображению одновременно представились осьминог, дракон и карикатура на человека. Мясистая голова с щупальцами венчала гротескное чешуйчатое тулово с рудиментарными крыльями, но особенно жуткое впечатление производили *общие очертания* всего в целом. На заднем плане смутно проступало некое подобие циклопической кладки.

К этой диковинке помимо подборки газетных вырезок прилагался целый ворох свежих записей, сделанных рукою профессора Эйнджелла и не претендующих на какую бы то ни было литературность. Основной, по всей видимости, документ был озаглавлен «КУЛЬТ КТУЛХУ» — тщательно прорисованными печатными буквами, чтобы предотвратить ошибки в прочтении столь неслыханного слова. Рукопись состояла из двух частей: первая — под рубрикой «1925 — Сон и творчество по мотивам снов Г. Э. Уилкокка, проживающего по адресу: штат Род-Айленд, г. Провиденс, Томас-стрит, д. 7», и вторая — «Рассказ инспектора Джона Р. Леграсса, проживающего по адресу: штат Луизиана, г. Новый Орлеан, Бьенвиль-стрит, д. 121; 1908 г. — заседание А. А. О. — протокол и доклад проф. Уэбба». Остальные бумаги представляли собою краткие заметки, в некоторых содержалось описание странных снов самых разных людей, тут же попадались выдержки из теософских книг и журналов (в частности, из «Истории Лемурии и Атлантиды» У. Скотт-Эллиота), а также комментарии на тему сохранившихся с давних времен тайных обществ и секретных культов, вместе со ссылками на соответствующие пассажи в таких справочных изданиях по мифологии и антропологии, как «Золотая ветвь» Фрэзера и «Культе ведьм в Западной Европе» за авторством мисс Мюррей. В газетных вырезках речь шла по большей части о странных психических расстройствах и о вспышках группового помешательства или мании весной 1925 года.

В первой части основной рукописи пересказывалась прелюбопытная история. 1 марта 1925 года к профессору Эйнджеллу явился худощавый смуглый юноша вида не-

врастенического и до крайности возбужденного, с необычным глиняным барельефом, на тот момент еще мягким и влажным. На визитке значилось имя: Генри Энтони Уилкоккс. Дед узнал в нем младшего сына некоего уважаемого семейства, отдаленно ему знакомого. Юноша вот уже некоторое время учился в род-айлендской художественной школе на отделении скульптуры, а жил один, в здании «Флер-де-лис» неподалеку от учебного заведения. Уилкоккс, многообещающий вундеркинд, славился как своим недюжинным талантом, так и изрядной эксцентричностью и с детства удивлял окружающих диковинными историями и пересказами странных снов. Сам он говорил о своей «физической гиперсенситивности», но уважаемые жители старинного торгового города считали его просто-напросто чудачком. С людьми своего круга он никогда особенно не общался, а постепенно и вовсе выпал из светской жизни; теперь его знала разве что небольшая группка эстетов из других городов. Даже насквозь консервативный Провиденский клуб искусств убедился, что юноша безнадежен.

Что до визита, сообщалось в профессорской рукописи, скульптор нежданно-негаданно воззвал к археологическим познаниям хозяина, попросив идентифицировать иероглифы на барельефе. Изъяснялся он в этакой отрешенной, напыщенной манере, что наводило на мысль о позерстве и сочувствия не пробуждало, и дед мой отвечал довольно резко, поскольку очевидная новизна глиняной таблички наводила на мысль о чем угодно, кроме археологии. Ответ молодого Уилкоккса, впечатливший деда настолько, что тот запомнил и записал его дословно, был облечен в причудливо-поэтическую форму, свойственную речи юноши в целом; впоследствии я убедился, что такая манера изъясняться для него и впрямь весьма характерна. «Воистину табличка нова, я создал ее прошлой ночью, грезя о невиданных городах, а сны — древнее, чем утрюмый Тир, или задумчивый Сфинкс, или венчаный садами Вавилон».

Тут-то юноша и повел свой бессвязный рассказ, внезапно разбередив дремлющие воспоминания деда и про-

будив в нем лихорадочный интерес. Накануне ночью случилось небольшое землетрясение — самое значительное в Новой Англии за последние несколько лет, и впечатлительный Уилкоккс остро ощутил на себе его влияние. Ночью ему привиделся небывалый сон: великие города Циклопов, сплошь — исполинские глыбы и устремленные в небеса монолиты; все они сочились зеленой слизью и таили в себе неизъяснимый ужас. Стены и колонны были покрыты иероглифами, а откуда-то снизу доносился голос, что и голосом-то не назовешь: хаотическое ощущение, что преобразовать в звук способна лишь фантазия. И тем не менее юноша попытался передать его почти непроизносимым набором букв: «Ктулху фхтагн».

Эта словесная невнятица и послужила ключом к воспоминанию, что одновременно взволновало и встревожило профессора Эйнджелла. Он расспросил скульптора с дотошностью ученого — и с жадной скрупулезностью изучил барельеф. Если верить Уилкокксу, ночью, проснувшись, как от толчка, потрясенный юноша обнаружил, что работает над пресловутой глиняной табличкой — продрогший, в одной пижаме. Впоследствии Уилкоккс рассказывал, что дед списывал не иначе как на свои преклонные годы тот досадный факт, что не сразу распознал иероглифы и изображение. Многие его вопросы показались гостю в высшей степени неуместными — в особенности те, что намекали на его связь со странными культурами или обществами. Уилкоккс в упор не понимал настойчивых обещаний хранить тайну в обмен на допуск и членство в каком-то разветвленном мистическом или языческом религиозном сообществе. Когда же профессор Эйнджелл уверился, что скульптор действительно понятия не имеет ни о каком культе и ни о каком тайном знании, он засыпал гостя просьбами сообщать о своих снах и дальше. Результаты, причем на постоянной основе, не заставили себя ждать. После первой беседы в рукописи отмечались ежедневные визиты юноши, в ходе которых он пересказывал впечатляющие фрагменты ночных видений: в них неизменно фигурировали жуткие

виды исполинских городов из темного влажного камня и подземный голос или разум, размеренно подающий загадочные импульсы смысла, что в записанном виде представляли собою полную тарабарщину. Чаще всего повторялись два звука: если передать их буквосочетаниями, то получалось «Ктулху» и «Р'льех».

23 марта, как гласила рукопись, Уилкоккс не пришел на встречу. Профессор навел справки на квартире скульптора; выяснилось, что юношу поразила некая загадочная болезнь и его увезли в семейный особняк на Уотерман-стрит. Ночью он кричал во сне, перебудив еще несколько художников, проживающих в здании, а с тех пор пребывал либо в беспамятстве, либо в бреде. Дед немедленно позвонил его родственникам и отныне и впредь бдительно следил за развитием событий и то и дело захаживал в кабинет доктора Тоби на Тайер-стрит, выяснив, что пациента поручили ему. Лихорадочный разум юноши, по всей видимости, одолевали странные видения; пересказывая их, доктор то и дело вздрагивал. В них не только повторялись прежние сны, но в общем сумбуре возникала какая-то исполинская тварь, «во много миль высотой», ковылявшая тяжело и неуклюже. Уилкоккс так и не описал это существо в подробностях, но отрывочные безумные восклицания в пересказе доктора Тоби убедили профессора, что оно, по всей видимости, тождественно безымянному чудовищу, изображенному на скульптуре из сна. Доктор добавил, что, заговорив о глиняном барельефе, юноша неизменно впадал в летаргию. Как ни странно, температура его была немногим выше обычной, но общее состояние наводило на мысль скорее о горячке, нежели о душевном расстройстве.

2 апреля около трех часов пополудни все симптомы недуга разом исчезли. Уилкоккс сел в постели, с превеликим изумлением обнаружив, что находится дома. Он понятия не имел, что происходило с ним начиная с ночи 22 марта, будь то во сне или в действительности. Врач объявил его здоровым; спустя три дня юноша вернулся к себе на квартиру, но профессору Эйнджеллу он боль-

ше ничем помочь не мог. С выздоровлением все странные видения прекратились; примерно с неделю дед выслушивал бесполезные, не относящиеся к делу пересказы самых что ни на есть обыкновенных снов, после чего записи вести перестал.

На этом заканчивалась первая часть рукописи, но ссылки на разрозненные заметки дали мне немало материала для размышлений — на самом деле так много, что мое сохранившееся недоверие к художнику объясняется разве что моей тогдашней философией, насквозь пропитанной скептицизмом. В пресловутых заметках описывались сны разных людей в течение того же периода, когда молодого Уилкокса посещали его странные химеры. Дед очень быстро, по всей видимости, создал разветвленную, обширную сеть наведения справок, охватив едва ли не всех своих друзей, которым мог задавать вопросы, не рискуя показаться дерзким: от них он требовал еженочных отчетов о снах и даты каких-либо примечательных видений за прошедшее время. На подобные просьбы люди, надо думать, реагировали по-разному, и все же при самых скромных подсчетах дед явно получал куда больше ответов, нежели удалось бы обработать без помощи секретаря. Исходная корреспонденция не сохранилась, но дедовы заметки представляли собою детальный и весьма показательный обзор. Люди самые что ни на есть обыкновенные, те, что вращаются в светском обществе и в деловых кругах — пресловутая «соль земли» Новой Англии, — результаты представили в большинстве своем отрицательные. Однако ж тут и там фигурировали отдельные случаи тревожных, но бесформенных ночных впечатлений: все они приходились на период между 23 марта и 2 апреля — когда молодой Уилкокс пребывал в бреду. Ученые оказались чуть более восприимчивы: четыре случая расплывчатых описаний наводят на мысль о мимолетных проблесках странных ландшафтов, и в одном случае упоминается ужас перед чем-то паранормальным.

Ответы по существу дали поэты и художники; я уверен, что будь у них возможность сравнить свои записи,

вспыхнула бы настоящая паника. Но поскольку оригиналов писем в моем распоряжении не было, я отчасти заподозрил, что составитель либо задавал наводящие вопросы, либо отредактировал тексты сообразно желаемому результату. Вот почему мне по-прежнему казалось, что Уилкоккс, каким-то образом получив доступ к более ранним сведениям, которыми располагал мой дед, намеренно ввел маститого ученого в обман. Отклики эстетов складывались в пугающую повесть. С 28 февраля и по 2 апреля многим из них снились странные, причудливые сны, причем их яркость безмерно усилилась в тот период, когда скульптор пребывал в бреду. Примерно одна четвертая из числа тех, кто согласился поведать о своем опыте, сообщали о ландшафтах и отзвуках, очень похожих на описания Уилкоккса; а кое-кто из сновидцев признавался, что ближе к концу появлялась гигантская безымянная тварь, внушавшая беспредельный страх. Один из случаев, весьма печальный, рассматривался особенно подробно. Субъект — широко известный архитектор, склонный к теософии и оккультизму, — в день, когда с молодым Уилкоксом приключился приступ, впал в буйное помешательство, неумолчно кричал, умоляя спасти его от какого-то сбежавшего из ада демона, — и несколькими месяцами позже скончался. Если бы дед ссылался на эти случаи, приводя имена, а не просто номера, я бы предпринял независимое расследование в поисках доказательств, но так, как есть, мне удалось установить личность лишь нескольких человек. Однако ж все они дословно подтвердили записи. Я частенько гадаю, все ли опрошенные были столь же озадачены, как эти немногие. Хорошо, что объяснения они так и не получают.

В газетных вырезках, как я уже сообщал, речь шла о вспышках паники, о маниях и психозах в указанный период. Профессор Эйнджелл, должно быть, нанял целое пресс-бюро, потому что количество выдержек было огромно, а источники — разбросаны по всему земному шару. Тут — ночное самоубийство в Лондоне: одинокий жилец с душераздирающим криком выбросился во сне из

окна. Там — бессвязное письмо издателю газеты в Южной Америке: какой-то одержимый видениями фанатик предсказывал мрачное будущее. Официальное сообщение из Калифорнии описывало, как целая колония теософов облеклась в белые одежды ради некоего «великого совершення», которое так и не последовало; в то время как в статьях из Индии сдержанно говорилось о серьезных волнениях в среде местного населения ближе к концу марта. По Гаити прокатилась волна шаманских оргий; африканские аванпосты докладывали о недовольстве и ропоте. Американские офицеры на Филиппинских островах докладывали, что примерно в то же время отдельные племена сделались беспокойны, а в ночь с 22 на 23 марта в Нью-Йорке полицейских атаковала толпа истеричных левантинцев. В западной части Ирландии множились самые дикие слухи и легенды; весной 1926 года художник-фантаст по имени Ардуа-Бонно выставил в Парижском салоне свое кошунственное полотно под названием «Пригрезившийся пейзаж». А в психиатрических больницах отмечалось такое количество беспорядков, что не иначе как чудо помешало медицинской братии отследить странные параллели и прийти к озадачивающим выводам. В общем и целом — жутковатая подборка вырезок; и сегодня я с трудом понимаю свой тогдашний бездушный рационализм, заставивший меня от них отмахнуться. Впрочем, на тот момент я и впрямь был убежден, что молодой Уилкоккс знал о событиях более давних, профессором упомянутых.

II

История инспектора Леграсса

События более давние, в связи с которыми сон скульптора и барельеф показали моему деду столь важными, излагались во второй части пространной рукописи. Как выяснилось, в прошлом профессор Эйнджелл уже видел адские очертания безымянного чудовища, и ломал голову

над неведомыми иероглифами, и слышал зловещую последовательность звуков, которую можно передать только как «Ктулху». И все это — в таком тревожном и страшном контексте, что не приходится удивляться, если он принялся забрасывать молодого Уилкокса расспросами и настойчиво требовать все новых сведений.

Этот его более ранний опыт датируется 1908 годом, семнадцатью годами раньше. Американское археологическое общество съехалось на ежегодную конференцию в Сент-Луис. Профессор Эйнджелл, как оно и подобает ученому настолько авторитетному и заслуженному, играл значимую роль во всех дискуссиях. Именно к нему в числе первых обратились несколько неспециалистов, что пришли на заседание, дабы получить правильные ответы на свои вопросы и разрешить проблемы силами экспертов.

Главным среди этих неспециалистов был ничем не примечательный человек средних лет, приехавший из самого Нового Орлеана в поисках узкоспециальной информации, которую местные источники предоставить ему не могли. Именно он вскорости оказался в центре внимания всего почтенного собрания. Звали его Джон Реймонд Леграсс; работал он полицейским инспектором. Он принес с собой то, ради чего приехал: гротескную, омерзительную, по всей видимости очень древнюю каменную статуэтку, происхождение которой определить затруднялся. Нет, инспектор Леграсс несколько не интересовался археологией. Напротив, его любопытство было подсказано исключительно профессиональными соображениями. Статуэтку, идол, фетиш, или что бы уж это ни было, захватили несколькими месяцами раньше в заболоченных лесах к югу от Нового Орлеана, в ходе облавы на сборище предполагаемых шаманов-вудуистов. И столь необычные и отвратительные обряды были связаны с этой статуэткой, что полицейские не могли не осознать, что столкнулись с каким-то неведомым темным культом, бесконечно более страшным, нежели самые что ни на есть дьявольские секты африканских колдунов. О проис-

хождении культа ровным счетом ничего не удалось выяснить — если не считать обрывочных и неправдоподобных признаний, исторгнутых у пленников. Поэтому полиция и решила обратиться к ученым, знатокам древности, в надежде с их помощью понять, что собой представляет кошмарный символ и через него выйти к истокам культа.

Инспектор Лейграсс даже представить себе не мог, какую сенсацию произведет его приношение. При одном только взгляде на загадочный предмет собрание ученых мужей разволновалось не на шутку. Окружив гостя плотным кольцом, все так и пожирало глазами фигурку: ее явная чужеродность и аура неизмеримо глубокой древности наводили на мысль о доселе неоткрытых архаичных горизонтах. Художественную школу, породившую эту страшную скульптуру, так и не удалось опознать, однако ж тусклая, зеленоватая поверхность неизвестного камня словно бы хранила в себе летопись веков и даже тысячелетий.

Статуетка, которую неспешно передавали из рук в руки для ближайшего и внимательного рассмотрения, в высоту была около семи-восьми дюймов и поражала мастерством исполнения. Она изображала чудовище неопределенно антропоидного вида, однако ж с головой как у спрута, с клубком щупалец вместо лица, с чешуйчатым, явно эластичным телом, с гигантскими когтями на задних и передних лапах и длинными, узкими крыльями за спиной. Это существо, по ощущению, исполненное жуткой, противоестественной злобности, обрюзгшее и тучное, восседало в отвратительной позе на прямоугольной глыбе или пьедестале, покрытом непонятными письменами. Концы крыльев касались черного края камня сзади, само сиденье помещалось в центре, а длинные, изогнутые когти поджатых, скрюченных задних лап цеплялись за передний край и спускались вниз примерно на четверть высоты пьедестала. Моллюскообразная голова выдавалась вперед, так что лицевые щупальца задевали с тыльной стороны громадные передние лапы, обхватившие задранные колени. Все в целом выглядело неправ-

доподобно живым — и тем более неуловимо пугающим, что происхождение идола оставалось неизвестным. В запредельной, устрашающей, бесконечной древности статуэтки не приходилось сомневаться, и однако ж ничто не указывало на какой-либо известный вид искусства, возникший на заре цивилизации — либо в любую другую эпоху. Перед нами было нечто особое, ни на что не похожее; даже сам материал и тот являл собою неразрешимую загадку: мылообразный, зеленовато-черный камень с золотыми и радужными вкраплениями и прожилками не походил ни на что знакомое из области геологии либо минералогии. Вязь письмен, начертанных вдоль основания постамента, озадачивала не меньше; никто из участников — несмотря на то, что в собрании присутствовала половина мировых экспертов в этой области, — не имел ни малейшего представления о том, с какими языками это наречие хотя бы самым отдаленным образом соотносится. Иероглифы, точно так же, как сама скульптура и ее материал, принадлежали к чему-то устрашающе далекому и чуждому человеческой цивилизации — такой, какой мы ее знаем; к чему-то пугающему, наводящему на мысль о древних и кошунственных циклах жизни, к которым наш мир и наши представления вообще неприложимы.

И однако ж, пока участники конференции по очереди качали головами и признавали свое бессилие перед задачей инспектора, нашелся в собрании один человек, которому померещилось, будто чудовищная фигура и письма ему до странности знакомы. Он-то и рассказал, смущаясь, о некоей памятной ему странной безделице. То был ныне покойный Уильям Чаннинг Уэбб, профессор антропологии Принстонского университета и небезызвестный исследователь. Сорок восемь лет назад профессор Уэбб участвовал в экспедиции по Гренландии и Исландии в поисках рунических надписей, отыскать которые ему так и не удалось. В верхней части побережья Западной Гренландии он обнаружил примечательное племя выродившихся эскимосов (а может, и не племя,

а что-то вроде культа). Их религия, любопытная разновидность сатанизма, до глубины души ужаснула профессора своей нарочитой кровожадностью и гнусностью. Об этой вере прочие эскимосы почти ничего не знали, упоминали о ней с содроганием и говорили, что пришла она из бездонных глубин вечности за миллиарды лет до того, как был создан мир. В придачу к отвратительным обрядам и человеческим жертвоприношениям эта религия включала в себя извращенные, переходящие из поколения в поколение ритуалы, посвященные высшему, древнейшему дьяволу, иначе известному как *торнасук*; профессор Уэбб тщательно записал этот термин в транскрипции со слов престарелого жреца-шамана (иначе — *ангекок*), как можно точнее передав звучание латинскими буквами. Но на данный момент интерес представлял фетиш, связанный с пресловутым культом: идол, вокруг которого отплясывали эскимосы, когда высоко над ледяными утесами полыхало северное сияние. То был примитивный каменный барельеф с изображением кошмарного монстра, покрытый загадочными письменами. Насколько профессор мог судить, в основных чертах этот фетиш походил на чудовищную статуэтку, представленную ныне собранию.

Ученые мужи внимали Уэббу настороженно и потрясенно, а инспектор Леграсс разволновался больше прочих; он в свою очередь принялся засыпать профессора расспросами. Полицейский некогда записал и скопировал устный ритуал со слов арестованных служителей болотного культа и теперь попросил ученого по возможности вспомнить последовательность звуков, зафиксированную среди дьяволопоклонников-эскимосов. Последовало придирчивое, дотошное сличение записей — и в зале повисло благоговейное молчание. Детектив и ученый установили, что фраза, общая для двух адских ритуалов, проводимых в разных концах земного шара, фактически идентична! То, что шаманы-эскимосы и жрецы с луизианских болот выкликали нараспев, зывая к своим род-